

Моему еврейскому местечку...
Мы увидимся

ПРОЛОГ

КРАКОВ, ПОЛЬША

ИЮНЬ 2016 ГОДА

Женщина передо мной — совсем не та, кого я ожидала увидеть.

Десять минут назад я стояла перед зеркалом гостиничного номера, смахивая пылинки с манжеты бледно-голубой блузки и поправляя серьгу с жемчугом. Отвращение к себе все усиливалось. Я превратилась в типичную женщину чуть за семьдесят — коротко стриженные седые волосы и практичный брючный костюм, облегающий крепкую фигуру плотнее, чем год назад.

Я тронула букет на тумбочке — ярко-красные цветы завернуты в хрустящую коричневую бумагу. Затем подошла к окну. Отель «Венцль», перестроенный особняк шестнадцатого века, стоял на юго-западном углу Рынка — главной городской площади Кракова. Я намеренно выбрала это место, чтобы из комнаты открывался нужный вид. Площадь с ее загнутым южным углом походила на решето, где кипела жизнь. Туристы толпились между костелами и сувенирными лавками в Сукеннице, массивном, продолговатом здании с торговыми рядами, делившем площадь пополам. Теплым июньским вечером

на открытой веранде кафе собрались друзья пропустить стаканчик после работы, пока жители пригородов спешили домой со своими посылками, бросая взгляды на облака, темнеющие на юге, над Вавельским замком.

До этого я бывала в Кракове дважды, один раз сразу после падения коммунистического строя, а потом десять лет спустя, когда всерьез занялась поиском. Меня сразу же покорила скрытая жемчужина города. Несмотря на то, что туристические центры притяжения Праги и Берлина затмевали Старый город Кракова, он, с его нетронутыми соборами и каменными отреставрированными домами, казался самым элегантным во всей Европе.

С каждым моим приездом город сильно менялся, становился ярче, новее — «лучше» в глазах местных жителей, прошедших через годы лишений и застопорившегося прогресса. Некогда серые дома были выкрашены в яркие желтые и синие цвета, это превращало старые улицы в декорации к фильму. Местные жители также выглядели противоречиво: модно одетые молодые люди разговаривали на ходу по мобильным телефонам, не обращая внимания на деревенских жителей из горных районов, продававших разложенные на брезенте шерстяные свитера и овечий сыр, и замотанную в шаль *бабчу*, которая сидела на тротуаре и просила милостыню. Под витриной магазина с рекламой интернет-пакетов и вай-фай голуби клевали твердый булжжик рыночной площади, как и века назад. Под всей этой современностью и лоском ярко сияла барочная архитектура Старого города, история, которую нельзя отрицать.

Но не история привела меня сюда — по крайней мере, не та история.

Когда трубач на башне Мариацкого костела заиграл на Хейнале, возвещая о начале следующего часа, я изучала северо-западный угол площади, ожидая, что женщина

снова появится в пять, как и каждый день до этого. Я ее не видела и сомневалась, вдруг она сегодня не придет, и в таком случае мое путешествие через полмира окажется напрасным. В первый день я хотела убедиться, что она тот самый человек. Во второй — хотела поговорить с ней, но слишком разволновалась. Завтра я улетаю домой в Америку. Это был мой последний шанс.

Наконец из-за угла аптеки появилась она, ловко зажав зонтик под мышкой. Она пересекла площадь с удивительной скоростью для женщины девяноста лет. С идеальной осанкой, высокая. Ее белые волосы были собраны на макушке, но пряди выбились и развевались, обрамляя лицо. В отличие от моей строгой одежды на ней была яркая юбка с красивым узором. Пока она шла, казалось, блестящая ткань сама танцевала вокруг ее лодыжек, и я почти слышала шелест.

Мне был известен ее маршрут, такой же, как и в предыдущие два дня, когда я следила, как она идет в кафе «Новорольски» и просит столик подальше от площади, защищенный от шума и суеты высоким арочным входом в здание. В последний раз, когда я приезжала в Краков, я все еще искала. Теперь я знала, кто она и где ее найти. Единственное, что мне оставалось сделать — это собраться с духом и спуститься вниз.

Женщина села за свой обычный столик в углу, раскрыла газету. Она не знала, что мы сейчас встретимся, и даже не догадывалась о моем существовании.

Издали донесся раскат грома. Затем упали первые капли, заливая булыжник темными слезами. Нужно спешить. Если уличное кафе закроется и женщина уйдет, все усилия будут напрасны. В голове пронеслись голоса моих детей, твердивших, что в моем возрасте слишком опасно путешествовать так далеко в одиночку, что ехать незачем и ничего нового я не узнаю.

Я должна просто оставить эту затею и улететь домой. Это уже никому не важно.

За исключением меня — и ее. В своей голове я слышала ее голос таким, каким его представляла, он напоминал, зачем я приехала.

Собравшись с духом, я взяла цветы и вышла из номера. Я вышла на улицу и зашагала через площадь. И вдруг снова остановилась. Разум терзали сомнения. Зачем я проделала такой путь? Чего я ищу? Я упрямо шла вперед, не чувствуя, как крупные капли растекаются по волосам и одежде. Я дошла до кафе и стала пробираться между столиками и посетителями, оплачивающими счета, торопясь уйти, пока дождь не превратился в ливень. Когда я подошла к столу, женщина с белыми волосами оторвала взгляд от газеты. Ее глаза округлились.

Теперь, вблизи, я ясно вижу ее лицо. Я все вижу. Ошеломленная, я стою, не в силах пошевелиться.

Женщина передо мной — совсем не та, кого я ожидала увидеть.

СЭДИ
КРАКОВ, ПОЛЬША
МАРТ 1942 ГОДА

Все изменилось в тот день, когда они пришли за детьми.

Я должна была находиться на чердаке трехэтажного дома, в котором мы жили с десятком других семей в гетто. Каждое утро, до ухода на работу, мама помогала мне спрятаться там, оставляя с чистым ведром в качестве туалета и строгим предупреждением не уходить. Но в крошечном, холодном пространстве, где ни подвигаться, ни побегать, ни даже вытянуться во весь рост, я мерзла и сходила с ума от одиночества. Минуты тянулись в тишине, и только царапанье прерывало ее — невидимые дети на несколько лет младше меня сидели по ту сторону стены. Их держали поодиночке, ни побегать, ни поиграть. Однако они посылали друг другу сообщения, царапая и перестукиваясь, будто владея импровизированной азбукой Морзе. Иногда от скуки я тоже к ним присоединялась.

«Там свобода, где ты ее находишь», — часто на мои жалобы отвечал отец. У папы была привычка видеть мир именно таким, каким ему хотелось. «Наше

сознание — величайшая тюрьма». Ему было легко так говорить. Хотя ручной труд в гетто и был далек от его довоенной профессии бухгалтера, но так он, по крайней мере, каждый день выходил на улицу и встречался с другими людьми. Не сидел, как я, взаперти. Я почти не покидала наш многоквартирный дом с тех пор, как полгода назад нас переселили из квартиры в Еврейском квартале недалеко от центра города в район Подгуже, где на южном берегу реки было создано гетто. Я мечтала о нормальной жизни, моей жизни, где за стенами гетто я свободно бегала по знакомым местам и считала это обычным делом. Я представляла, как еду в трамвае в магазины на *Главный Рынок* или в кино, как гуляю по древним заросшим холмам на окраине города. Мне хотелось, чтобы хотя бы моя лучшая подруга Стефания была среди тех, кто прятался поблизости. Но она жила в отдельной квартире в другой части гетто, предназначенной для семей еврейской полиции.

Однако на этот раз не одиночество или скука погнала меня из укрытия, а голод. Мне постоянно не хватало еды, а сегодня утренняя порция состояла из половины кусочка хлеба, даже меньше, чем обычно. Мама предложила мне свой кусок, но я знала, что ей нужны силы для очередного долгого рабочего дня.

Пока тянулось утро на чердаке, пустой живот начал болеть. В сознании всплывали видения блюд, что мы ели до войны: густой грибной суп и кисловатый борщ, пироги, пухлые, сочные вареники моей бабушки. К полудню меня охватила такая слабость от голода, что я рискнула выйти из убежища и спуститься на первый этаж в общую кухню, где не было ничего, кроме одинокой кухонной плиты и раковины с сочащейся тепловатой коричневой водой. Я отправилась не за едой — даже если бы она была, я бы ни за что не стала красть.

Скорее, мне хотелось проверить, не осталось ли крошек в шкафу, и залить желудок стаканом воды.

Я задержалась на кухне дольше обычного, читая потрепанную книгу — ее я принесла с собой. На чердаке было слишком темно — именно за это я больше всего его и ненавидела. Я всегда любила читать, и папа унес в гетто из нашей квартиры множество книг, сколько сумел, несмотря на возражения матери, что нам лучше набить сумку едой и одеждой. Именно отец привил мне любовь к учебе и поощрял мою мечту изучать медицину в Ягеллонском университете до того, как из-за немецких законов это стало невозможным: сначала не допустили евреев, а позже и вовсе закрыли университет. И даже в гетто, в конце долгого, тяжелого трудового дня папа с удовольствием учил меня и делился мыслями. Несколько дней назад он каким-то образом даже раздобыл для меня новую книгу — «Граф Монте-Кристо». Но на чердаке было слишком темно, и я не могла читать, а вечером почти не оставалось времени — из-за комендантского часа и отбоя. *Еще чуточку*, сказала я себе, переворачивая страницу на кухне. Несколько минут ничего бы не решило.

Я только закончила облизывать грязный хлебный нож, когда услышала скрип тяжелых шин, за которым последовали лающие голоса. Я замерла, чуть не выронив книгу. Снаружи стояли СС и гестапо вместе с мерзкой Еврейской полицией, которая выполняла их приказы. Это был *актион*, внезапный, необъявленный арест больших групп евреев, которых вывозили из гетто в лагеря. В первую очередь именно поэтому я вынуждена прятаться. Я выбежала из кухни в коридор и поднялась по лестнице. Внизу послышался сильный грохот, разлетелась входная дверь и ворвалась полиция. Вовремя добежать до чердака я бы не смогла. И вместо этого я помчалась в нашу

квартиру на третьем этаже. Сердце бешено колотилось, когда я отчаянно оглядывалась, мечтая о большом платяном шкафе или шкафчике, чтобы спрятаться в крошечной комнатке, почти пустой, если не считать стоящих в ней кровати и комода. Я знала, были и другие укрытия, вроде фальшивой стены, которую одна из семей соорудила в соседнем доме меньше недели назад. Но теперь было слишком поздно, не добраться. Мой взгляд остановился на большом квадратном чемодане рядом с родительской кроватью. Мама показала мне, как там спрятаться, сразу после того, как мы оказались в гетто. Мы тренировались, играя, мама открывала чемодан, я забиралась, а потом она закрывала его.

Худшего тайника, чем чемодан, и представить нельзя, он стоял посреди комнаты у всех на виду. Но спрятаться было попросту нигде. Я должна была попытаться. Я подбежала к кровати, забралась в него и с трудом закрыла. Я воздала хвалу небесам, что была такой же миниатюрной, как мама. Я всегда стыдилась своего маленького роста, из-за него я выглядела на два года младше. Теперь это казалось благословением, как и тот печальный факт, что я отошала за месяцы скудного питания в гетто. Я все еще умещалась в чемодане.

На наших тренировках мы предполагали, что мама накинет одеяло или другую одежду поверх чемодана. Конечно, сама я этого сделать не могла. Поэтому чемодан остался незамаскированным и любой, кто вошел бы в комнату и открыл его, обнаружил бы меня. Я свернулась калачиком и обхватила себя руками, ощущая белую повязку с голубой звездой на рукаве, которые должны были носить все евреи.

Из соседнего здания послышался сильный грохот, словно молотком или топором сбивают штукатурку. Полиция обнаружила тайник за стеной, его выдавала

слишком свежая краска. Раздался душераздирающий крик — ребенка нашли и вытащили из укрытия. Если бы я оказалась там, меня бы тоже поймали. Кто-то подошел к двери и открыл ее нараспашку. Мое сердце сжалось. Я слышала дыхание, чувствовала, как глаза рыщут по комнате. *Мамочка, прости*, подумала я, представляя, как она ругает меня за то, что я ушла с чердака. Я мысленно приготовилась к тому, что чемодан откроют. Отнесутся ли ко мне мягче, если я выйду и сдамся? Немец продолжал идти по коридору, перед каждой дверью останавливался и осматривался, постепенно его шаги затихли.

Война пришла в Краков одним теплым осенним днем два с половиной года назад, когда впервые прозвучали сирены воздушной тревоги и игравшие на улицах дети сломя голову побежали домой. Сначала жизнь стала тяжелой, а потом и вовсе паршивой. Исчезла еда, и мы стояли в длинных очередях за обычными продуктами. Однажды хлеба не было целую неделю.

Затем, примерно год назад, по приказу Генерального правительства тысячи евреев из маленьких городов и деревень наводнили Краков, ошеломленные, они несли на спинах свои пожитки. Сперва я задавалась вопросом, как они все разместятся в Казимеже — и без того тесном еврейском районе города. Однако новоприбывших переселили в многолюдную часть промышленного района Подгуже на другой стороне реки, отгороженной высокой стеной. Мама состояла в *Гмине*, местной организации еврейской общины, и помогала устроиться переселенцам, поэтому мы часто приглашали новых друзей наших друзей на ужин, перед тем как они окончательно оставались в гетто. О своих родных местах они рассказывали до того ужасные истории, почти невероятные, что мама выгоняла меня из комнаты, чтобы я не слышала.

Через несколько месяцев после образования гетто нам тоже велели переселиться туда. Когда папа сообщил об этом, я не могла поверить. Мы не были беженцами, мы были жителями Кракова, всю жизнь жили в квартире на улице Мейзельса. Место было идеальное: на границе Еврейского квартала, в пешей доступности главные достопримечательности и жужжание центра, и близость папиной работы на Страдомской улице, он даже приходил домой на обед. Наша квартира располагалась над кафе, где каждый вечер играли на пианино. Порой музыка доносилась до нас, и папа кружил маму по кухне под тихую мелодию. Но приказы не оставляли иного выбора. Один день. Один чемодан на человека. И знакомый мне мир исчез навсегда.

Я всматривались в узкую чемоданную щель, пытаюсь разглядеть крошечную комнату, где жила с родителями. Я понимала, нам повезло, у нас была целая комната, эту привилегию мы получили, потому что отец был бригадиром. Другие были вынуждены жить вместе, часто по две или три семьи. Тем не менее по сравнению с нашей квартирой здесь было тесно. Мы все жили друг у друга на головах, запахи, звуки и картины бытовой жизни только ухудшались.

«*Киндер, раус!*» — снова и снова выкрикивали полицаи, рыская по коридорам. *Дети, выходите.* Это не впервые, когда немцы пришли за детьми днем, зная, что родители будут на работе.

Но я уже не ребенок. Мне было восемнадцать, и я могла бы работать, как другие мои сверстники или даже ребята на несколько лет моложе. Каждое утро я видела, как они выстраиваются в очередь на переключку перед отправкой на фабрику. И я *хотела* работать, хотя, судя по тому, как медленно, с трудом, сутулясь как старик, передвигался отец, и как у мамы кровоточили разбитые

руки, это было ужасно тяжело. Работа давала возможность выйти и поговорить с людьми. Мое укрывательство превратилось в предмет многочисленных споров между родителями. Папа считал, что я должна работать. В гетто высоко ценились трудовые карточки. Рабочими дорожили и с меньшей вероятностью могли отправить в лагерь. Но мама, редко спорящая с отцом, запрещала. *Она выглядит младше. Работа слишком тяжелая. Ей лучше не показываться, так безопаснее.* Сейчас, скрываясь, готовая, что в любой момент меня обнаружат, я размышляла, будет ли она думать, что была права.

Наконец в здании воцарилась тишина, последние ужасные шаги стихли. Я все еще не шевелилась. Все наминало ловушку — поймать тех, кто прячется: притвориться, что уходят, а самим сидеть в засаде и ждать, когда выйдут люди. Я не двигалась, не смея покинуть свое убежище. Конечности ныли, потом онемели. Я понятия не имела, сколько времени прошло. Через щелочку я видела, как в комнате потемнело, будто солнце немного опустилось. Спустя какое-то время снова послышались шаги, на этот раз шаркающие, будто волочились рабочие, утомленные и молчаливые. Я попыталась вылезти из чемодана. Но затекшие мышцы болели, и движения получались медленными. До того, как я успела выбраться, дверь в нашу квартиру распахнулась, и кто-то вбежал в комнату легкими, семенящими шагами.

— Сэди! — Это была мама и ее истеричный голос.

— *Естем тутай*, — позвала я. *Я здесь.* Теперь она была здесь и могла помочь открыть его и освободить меня. Но чемодан заглушал мой голос. Когда я попыталась расстегнуть застёжку, она застряла.

Мама выбежала из комнаты обратно в коридор. Я слышала, как она открыла дверь на чердак, потом бежала по лестнице, все еще разыскивая меня.

— Сэди! — звала она. — Моя деточка, моя деточка, — постоянно причитала она, пока искала, но когда не обнаружила меня, перешла на крик. Она думала, меня забрали.

— Мама! — заорала я. Но она была слишком далеко и не слышала, к тому же и сама кричала слишком громко. В отчаянии я вновь предприняла попытку выбраться из чемодана, но безуспешно. Мама с воплем вернулась обратно в комнату. Я услышала скрежет открывающегося окна. В конце концов я со всей силы навалилась на крышку чемодана плечом, так что его заломило от боли. Застежка открылась.

Я освободилась и вскочила.

— Мама? — Она стояла в странной позе, закинув одну ногу на подоконник, стройная фигура вырисовывалась на фоне холодного сумеречного неба. — Что ты делаешь? — На мгновение мне показалось, что она ищет меня снаружи. Гримаса страдания и боли исказила ее лицо. Тогда до меня дошло, почему мама оказалась на подоконнике. Она предположила, что меня забрали вместе с другими детьми. И не хотела жить. Если бы я вовремя не выбралась из чемодана, мама бы спрыгнула. Я была ее единственным ребенком, всем ее миром. Она скорее покончила бы с собой, нежели жила без меня.

Я бросилась к ней, по телу пробежал холодок.

— Я здесь, здесь. — Она пошатнулась на подоконнике, и я схватила ее за руку, чтобы она не упала. Меня охватило раскаяние. Я всегда хотела ей угодить, вызвать на ее прекрасном лице эту с трудом завоеванную улыбку. А сейчас я причинила ей столько боли, что она чуть не совершила невозможное.

— Я так переживала, — призналась она, когда я помогла ей спуститься и закрыть окно. Как будто это все объясняло. — Тебя не было на чердаке.

— Но, мама, я спряталась там, где ты мне говорила. — Я указала на чемодан. — В другом месте, помнишь? Почему ты не искала меня там?

Мама озадачилась.

— Я думала, что ты там не поместишься. — Последовала пауза, а затем мы обе разразились смехом, он звучал хрипло и неуместно в этой жалкой комнате. На какое-то мгновение мне даже показалось, что мы вернулись в нашу старую квартиру на улице Мейзельса и ничего этого не было. Если мы до сих пор не разучились смеяться, значит все не так уж плохо. Я зацепилась за эту невероятную мысль, как за спасательный круг.

Но в доме раздался вопль, затем еще один, заглушая наш смех. Это кричали матери других детей, которых забрала полиция. Снаружи раздался глухой звук. Я двинулась к окну, но мама преградила путь.

— Не смотри, — запретила она. Но было уже поздно. Я мельком увидела Хельгу Кольберг, соседку по коридору, неподвижно растянувшуюся внизу на тротуаре, в снегу угольного оттенка ее конечности неестественно распластались, а юбка лежала веером. Она поняла, что ее детей забрали, и как мама, жить без них она не желала. Я задумалась, побудил ли ее прыгнуть общий инстинкт или они обсуждали этот шаг, и это был своего рода договор о самоубийстве на случай, если худшие кошмары сбудутся.

Потом в комнату вбежал отец. Ни я, ни мама не сказали ни слова, но по не свойственному ему мрачному выражению лица я поняла, что он уже знал об *актионе* и о том, что случилось с другими семьями. Он просто подошел и обхватил нас обеих своими огромными руками, обняв крепче обычного. Пока мы сидели, молча и неподвижно, я изучала родителей. Мама — писаная красавица, миниатюрная и грациозная, с белокурыми

волосами как у скандинавской принцессы. Она совсем не походила на остальных евреек, и я не раз слышала, как люди шептались, что она не местная. Если бы не мы, она могла бы уйти из гетто. Но я пошла в папу, с оливковой кожей и темными вьющимися волосами, и в том, что мы евреи, не было никаких сомнений. Отец выглядел как рабочий, каким его в гетто сделали немцы — широкоплечий, готовый поднимать огромные трубы или бетонные плиты. На самом деле он был бухгалтером — то есть был им до тех пор, пока его компания не запретила ему работать. Я всегда хотела угодить маме, но именно папа был моим союзником, мечтателем, хранителем тайн, тем, кто засиживался допоздна и нашептывал в темноте секреты, бродил со мной по городу в поиске сокровищ. Я придвинулась ближе, стараясь раствориться в объятиях, дарующих безопасность. И все же папины объятия не могли защитить от всеобщих изменений. Гетто, несмотря на ужасные условия, все-таки было относительно безопасным. Мы жили среди евреев, и немцы даже установили еврейский совет, Юденрат, чтобы заниматься нашими делами. Может, если бы мы сидели тихо и делали все, что нам велено, не раз повторил папа, немцы оставили бы нас в покое до конца войны. Это была всего лишь надежда. Но после сегодняшнего дня я уже не была так уверена. Со смесью отвращения и страха я оглядела комнату. Сначала я не хотела жить здесь; теперь боялась, что нам придется уехать.

— Мы должны что-то предпринять, — взорвалась мама, ее голос звучал громче обычного, и она произнесла вслух все мои невысказанные мысли.

— Я возьму ее завтра с собой, и мы получим разрешение на работу, — ответил папа. На этот раз мама не стала спорить. До войны быть ребенком было неплохо.

Но теперь возможность принести пользу и поработать — единственное, что могло нас спасти.

Однако мама говорила не только о разрешении на работу.

— Они придут снова, и в следующий раз нам так не повезет. — Теперь она не потрудилась спрятать свои мысли от меня. Я кивнула, молча соглашаясь. Все меняется, подтвердил внутренний голос. Мы не сможем остаться здесь навсегда.

— Все будет хорошо, *кохана*, — успокаивал ее папа. Как он мог так говорить? Но мама положила голову ему на плечо в знак того, что, как обычно, доверяет ему. Мне тоже хотелось в это верить. — Я что-нибудь придумаю. По крайней мере, — добавил папа, когда мы прижались друг к другу, — мы все еще вместе. — Слова разлетелись по комнате обещанием и молитвой одновременно.

ЭЛЛА
КРАКОВ, ПОЛЬША
ИЮНЬ 1942 ГОДА

Стоял теплый июньский вечер, я шла по рыночной площади, обходя стоявшие в тени Суконных Рядов ароматные цветочные киоски, с выставленными напоказ яркими, свежими цветами, однако мало у кого имелись деньги или желание их купить. Уличные кафе, не такие шумные, как обычно в это время года, все еще работали и бойко торговали пивом, подавая его немецким солдатам и тем немногим авантюристам, которые осмелились к ним примкнуть. Если не вглядываться, то может показаться, что вообще ничего не изменилось.

Но, разумеется, изменилось все. Почти три года Краков был в оккупации. Красные флаги с черной свастикой посередине свисали с Суkenнице — длинного желтого здания в центре площади, где торговали сукном. На кирпичной Ратуше — городской башне — они тоже висели. Рынок переименовали в Адольф-Гитлер-плац, а многовековые польские названия улиц превратились в Рейхштрассе, Вермахтштрассе и тому подобное. Гитлер назначил Краков резиденцией Генерального правительства,

и город был переполнен эсэсовцами и остальными немецкими солдатами, бандитами в сапогах, расхаживающими по тротуарам шеренгой по три-четыре человека, вынуждая остальных пешеходов сойти с дороги, и по желанию цеплялись к простым полякам. На углу мальчик в коротких штанишках продавал «*Кракауэр Цайтунг*», немецкую пропагандистскую газету, заменившую наши собственные. «Срамота», — за глаза называли ее люди, имея в виду, что она годится только в качестве подтирки.

Несмотря на ужасные перемены, все равно было приятно выйти на улицу, чтобы в такой вечер размять ноги и ощутить солнечное тепло. Из своих девятнадцати лет, сколько себя помню, я гуляла по улицам Старого города каждый день, сначала в детстве с отцом, затем сама. Его достопримечательности — топография моей жизни, от средневековой крепости Барбакан и ворот в конце Флорианской улицы до Вавельского замка, расположенного на вершине холма с видом на Вислу. Казалось, прогулка пешком — единственная вещь, которую ни время, ни война не могли у меня отнять. Однако я не заходила в кафе. Может быть, смеясь и болтая, я бы и села бы со своими друзьями на закате, когда загорались вечерние огни, отбрасывая на тротуар каскады желтых лужиц. Но теперь ночные огни не зажигались — в соответствии с немецким указом все было потушено, чтобы замаскировать город от вероятного воздушного налета. И никто из моих знакомых больше не хотел встречаться. Люди стали меньше выходить на улицу, часто напоминала я себе, когда приглашения, которых когда-то было в избытке, сошли на нет. Мало кто мог позволить купить достаточно еды по продовольственным карточкам, чтобы пригласить гостей. Все были слишком озабочены

собственным выживанием, и общение превратилось в роскошь, которую мы не могли себе позволить.

Но до сих пор я ощущала приступы одиночества. Моя жизнь была такой неприметной без Крыса, и мне хотелось бы посидеть и поболтать с друзьями моего возраста. Подавив это чувство, я еще раз обошла площадь, изучая витрины магазинов, где выставлялась одежда и другие товары, которые почти никто больше не мог себе позволить. Что угодно, лишь бы оттянуть возвращение домой, где мы живем с мачехой. Задерживаться на улице было глупо. Известно, что немцы с наступлением темноты и приближением комендантского часа все чаще останавливали людей для допроса и осмотра. Покинув площадь, я направилась к главной улице — Гродской, к дому, что стоял в нескольких шагах от центра, где я прожила всю свою жизнь. Затем свернула на улицу Канонича, старую, извилистую дорогу, вымощенную отполированным временем булыжником. И хотя я боялась встретиться со своей мачехой Анной-Люсией, просторный городской дом, в котором мы жили, до сих пор выглядел приятно. С ярко-желтым фасадом и ухоженными цветами в ящиках на окнах он выглядел опрятнее, чем, по мнению немцев, заслуживали поляки. При других обстоятельствах дом наверняка забрали бы для нужд какого-нибудь нацистского офицера.

Пока я стояла возле дома, перед глазами проносились воспоминания о моей семье. Самыми смутными были образы матери, скончавшейся от гриппа, когда я была крохой. Я была младшей из четырех детей и завидовала своим братьям и сестрам, прожившим так много лет с нашей мамой, которую мне едва довелось узнать. Обе мои сестры были замужем, одна — за адвокатом в Варшаве, а другая — за капитаном судна в Гданьске. Больше всего я скучала по брату Мачею, он был младше сестер

и по возрасту ближе мне. И хотя он был на восемь лет старше, всегда находил время поиграть и поговорить со мной. Он отличался от других. Его не интересовали ни брак, ни карьера, которой отец желал для него. Поэтому в семнадцать лет он сбежал в Париж, где жил с человеком по имени Филипп. Безусловно, Мачей не убежал от цепких лап нацистов. Теперь они контролировали Париж, погружая во тьму все, что он когда-то называл Городом Огней. Но его письма еще оставались полны оптимизма, и я надеялась, что в Париже сейчас хотя бы немножечко лучше.

Когда мои братья и сестры разъехались, долгие годы мы с отцом жили вдвоем, его я звала Тата. Затем он зачастил в Вену по делам своей типографии. Однажды он вернулся с Анной-Люсией, на которой, не сказав мне, женился. Впервые встретившись с ней, я сразу поняла, что возненавижу ее. Она была в пышной меховой шубе с головой животного на вороте. Полные упрека глаза этого бедняги жалобно смотрели на меня. Когда она поцеловала меня в щеку, тяжелый аромат жасмина ударил в нос, а ее дыхание походило на шипение. По тому, как холодно она оценила меня при встрече, я поняла, что мне не рады, как чужой мебели, от которой не отделаться, потому что она идет вместе с домом.

Когда началась война, Тата решил возобновить службу в армии. Само собой, в его возрасте идти было не обязательно. Но он служил из чувства долга не только перед страной, но и перед молодыми солдатами, почти мальчиками, которые еще не родились, когда Польша в последний раз вступала в войну.

Скоро пришла телеграмма: пропал без вести, предположительно погиб на Восточном фронте. Когда я подумала о Тате, у меня сразу защипало в глазах, боль была такой же острой, как и в день, когда мы узнали об этом.

Иногда я грезила, что он попал в плен и вернется после войны. В остальное время я злилась: как он мог уйти и оставить меня одну с Анной-Люсией? Она походила на злую мачеху из детской сказки, только хуже, потому что была настоящей.

Я подошла к дубовой арке двери нашего дома и стала поворачивать медную ручку. Услышав громкие голоса внутри, я остановилась. Анна-Люсия снова развлекала гостей. Застолья моей мачехи всегда были шумными. «Суаре», так она их называла, претенциознее, чем они на самом деле являлись. Мне казалось, они состояли из любой приличной еды, которую можно раздобыть в наши дни, пары бутылок вина из пустеющего отцовского погреба и холодной водки, разбавленной водой, чтобы растянуть. До войны я бы, возможно, присоединилась к ее вечерам, куда приходили художники, музыканты и интеллектуалы. Мне нравилось слушать их оживленные дебаты, обсуждения до поздней ночи. Но теперь все эти люди исчезли, эмигрировав в Швейцарию или Англию, а тех, кому не так повезло, арестовали и выслали из страны. Их заменили гости худшего сорта — немцы, и чем выше звание, тем лучше. Анна-Люсия оказалась самым настоящим прагматиком. В самом начале войны она осознала, что необходимо подружиться с нашими захватчиками. Теперь каждые выходные наш стол был облеплен толстошеими скотинами, которые загрязняли дом сигаретным дымом и пачкали ковры грязными сапогами, не потрудившись вытереть их у двери.

Сперва Анна-Люсия утверждала, что дружит с немцами, чтобы добыть информацию о моем отце. Это было в самом начале, когда мы все еще надеялись, что он в тюрьме или пропал без вести в бою. Но потом мы получили извещение, что он погиб, и она стала общаться с немцами даже больше, чем раньше. Словно

освободившись от притворного замужества, она могла уже позволить вести себя так ужасно, как и всегда хотела.

Безусловно, я не осмеливалась указать мачехе на ее постыдные поступки. Поскольку отец был объявлен умершим и не оставил завещания, дом и все его деньги по закону должны были перейти ей. Если бы я стала препятствовать, она бы с радостью выгнала меня, выкинула, как мебель, которая никогда не нравилась. У меня ничего не было. Поэтому я действовала осторожно. Анна-Люсия любила напоминать мне, что только благодаря ее хорошим отношениям с немцами мы остались в нашем прекрасном доме с достаточным количеством еды и соответствующими печатями в *Кеннкартен** для свободного передвижения по городу.

Я отошла от входной двери. С тротуара я печально смотрела через окно на знакомые хрустальные бокалы и фарфор. Но я не видела ужасных незнакомцев, которые теперь наслаждались нашими вещами. Вместо этого мое воображение рисовало образы моей семьи: я хотела играть в куклы со старшими сестрами, мать ругает Мачея за то, что тот уронит вещи, пока гоняется за мной вокруг стола. Пока ты молод, тебе кажется, что семья, в которой ты родился, будет с тобой всегда. Война и время доказали обратное.

Страшась общества Анны-Люсии больше, чем комендантского часа, я развернулась и снова пошла пешком. Я не знала, куда держать путь. Уже стемнело, и парки были закрыты для простых поляков, как и большинство лучших кафе, ресторанов и кинотеатров. В тот момент моя нерешительность, казалось, отражала мою жизнь в целом, я оказалась на своего рода ничейной земле. Мне некуда и не с кем было идти. В оккупированном

* Кеннкартен — документ, удостоверяющий личность.

Кракове я чувствовала себя комнатной птичкой, которой может чуть полетать, но всегда должна помнить, что заперта в клетке.

Все могло бы быть по-другому, если бы Крыс до сих пор был здесь, размышляла я, направляясь обратно в сторону Рынка. Я представляла себе иную реальность, где война не заставила бы его уехать. Мы бы уже думали о свадьбе, а может быть, даже поженились.

Мы с Крысом случайно встретились почти за два года до войны, когда остановились с друзьями выпить кофе во внутреннем дворике кафе, куда он доставлял продукты. Высокий и широкоплечий, он выглядел внушительно, когда шел по проходу с большим ящиком в руках. Черты лица у него были грубые, словно высеченные из камня, а взгляд как у льва, охватывающий всю комнату. Когда он проходил мимо нашего столика, из ящика в его руках выпала луковица и покатилась ко мне. Он опустил на колени, чтобы поднять ее, посмотрел на меня и улыбнулся. «Я у твоих ног». Порой я задавалась вопросом, намеренно ли он уронил луковицу или это судьба направила его в мою сторону.

В тот же самый вечер он пригласил меня на свидание. Мне следовало бы отказаться — неприлично так быстро соглашаться. Но я была заинтригована, а через пару часов после ужина сражена. Меня тянуло к нему не только внешне. Крыс отличался от всех, кого я когда-нибудь встречала. В нем была энергия, которая заполняла собой всю комнату, а остальные в ней исчезали.

И хотя он родился в рабочей семье и не окончил среднюю школу, не говоря уже о поступлении в университет, он оказался гениальным самоучкой. Его смелые идеи о будущем, о том, каким должен быть мир, возвышали его над остальными. Он был самым умным человеком из всех, кого я знала. И он слушал меня как никто

другой. Все свободное время мы проводили вместе. Мы были необычной парой — мне нравилось общаться, проводить время в компании друзей. Он был одинокий волк, избегавший людей и предпочитавший глубокие беседы во время долгих прогулок. Крыс любил природу и показывал мне за городом места редкой красоты, густые леса и руины замков, спрятанные в такой глубине, что я даже не подозревала об их существовании.

Однажды вечером, через несколько недель после нашей первой встречи, мы прогуливались по высокому гребню холма Святой Брониславы, недалеко от города, горячо обсуждая французских философов, когда я заметила, что он пристально наблюдает за мной.

— В чем дело?

— Когда мы встретились, я думал, ты будешь такой же, как остальные девушки, — сказал он. — Интересоваться поверхностными вещами. — И хотя я могла обидеться, я понимала, что он имеет в виду. Мои друзья в основном интересовались вечеринками, спектаклями и модой. — А вместо этого я нашел тебя, совершенно другую.

Вскоре после этого мы стали неразлучны, планировали свадьбу и путешествие по миру. И конечно, война все изменила. Крыса не призвали, но как и мой отец, он сразу ушел на фронт. Он ко всему был небезразличен, и война не стала исключением. Я заметила, что если он немного подождет, то война может закончиться, но Крыс не поддался на уговоры. Хуже того, он оставил меня перед уходом.

— Мы не знаем, как долго меня не будет.

Но если ты вернешься, подумала я, мысль была настолько ужасная, что ни один из нас не смог бы ее произнести. *Тебе лучше оставаться свободной, чтобы по-прежнему встречать другого.* Это звучало как шутка. Даже если

бы в Кракове остались другие молодые люди, мне было бы все равно. Я ожесточенно спорила, моя гордость, не желающая признать, что нужно не расставаться, а скорее объявить помолвку или даже пожениться, как это сделали другие. По крайней мере, я хотела, чтобы у меня осталась часть его, хотела связать себя узами на случай, если что-то случится. Но Крыс медлил, а если он что-то вбил себе в голову, ничто в мире не могло его переубедить. Последнюю ночь мы провели вместе, став ближе, чем следовало, потому что другой возможности оказаться вдвоем могло долго не представиться, может быть, никогда. Перед рассветом я ушла в слезах, крадучись, зашла в дом прежде, чем мачеха заметила бы мое отсутствие.

Несмотря на то, что мы с Крысом больше не были парой, я продолжала его любить. Он бросил меня, потому что считал, что для меня так будет лучше. Я была уверена, что, когда закончится война и он благополучно вернется, мы воссоединимся и все будет как раньше. Потом польскую армию быстро разгромили немецкие танки и артиллерия. Многие из тех, кто ушел на фронт, вернулись ранеными, подавленными. Я надеялась, что Крыс тоже вернется. Но его не было. Редкими стали его отстраненные письма, а потом и вовсе прекратили приходить. Где он? Я постоянно спрашивала себя об этом. Конечно, в случае ареста, или чего хуже, мне бы сообщили об этом его родители. Нет, Крыс все еще там, упрямо твердила я себе. Просто война нарушила работу почты. И Крыс обязательно вернется ко мне, сразу, как сможет.

Вдалеке зазвонили колокола Мариацкого костела, возвещающая о семи часах. Я машинально ждала, когда трубач сыграет на Хейнале, как он трубил ежедневно большую часть моей жизни. Но мелодия трубача,

средневековый боевой клич, напоминавший о том, как Польша когда-то отразила вторжение орды, теперь оказалась во власти немцев, а те разрешали играть ее только два раза в день. Я снова пересекла рыночную площадь, размышляя, стоит ли остановиться и выпить кофе, чтобы скоротать время. Когда я подошла к одному из кафе, солдат-немец, сидевший в компании двух других, посмотрел на меня с интересом, его намерения были ясны. Ничего хорошего не выйдет, если я там сяду. Я торопливо пошла дальше.

Приближаясь к Сукеннице, я заметила две знакомые фигуры, они шли, держась за руки, и заглядывали в витрину магазина. Я направилась к ним.

— Добрый вечер.

— О, привет. — Магда, брюнетка, выглянула из-под соломенной шляпы, вышедшей из моды года два назад. До войны Магда была одной из самых близких моих подруг. Но уже несколько месяцев я ее не видела и ничего не слышала о ней. Она избегала моего взгляда и отводила глаза. Рядом с ней стояла Клара, недалекая девушка, которая никогда не была мне интересна. Она щеголяла светлой стрижкой пажа и ниточкой высоких бровей, которые придавали ей выражение постоянного удивления. — Мы просто прошлись по магазинам и собирались остановиться, чтобы перекусить, — самодовольно сообщила мне она.

Меня они не пригласили.

— Я бы с удовольствием, — рискнула сказать я Магде. И хотя в последнее время мы не общались, где-то в глубине души я все еще надеялась, что моя старая подруга подумала бы обо мне и пригласила бы в свою компанию.

Магда промолчала. Но Клара, всегда завидовавшая моей близости с Магдой, не стеснялась в выражениях:

— Мы не звонили тебе. Думали, ты будешь занята новыми друзьями своей мачехи. — Мои щеки вспыхнули, как от пощечины. Несколько месяцев я утешала себя, что мои подруги больше не собираются вместе. Суровая правда заключалась в том, что они больше не встречались *со мной*. Тогда я поняла, что исчезновение моих друзей не связано с тяготами войны. Они избегали меня, потому что Анна-Люсия была коллаборационисткой, и, наверное, они думали, что и я тоже.

Я откашлялась.

— Я не общаюсь с людьми, с которыми общается моя мачеха, — медленно ответила я, стараясь изо всех сил, чтобы голос не дрожал. Ни Клара, ни Магда больше ничего не сказали в ответ, и между нами повисло неловкое молчание.

Я задрала подбородок.

— Не важно, — сказала я, пытаюсь не думать об отказе. — Я была занята. Мне нужно столько всего успеть до возвращения Крыса. — Я не сказала им, что мы с Крысом расстались. И не только потому, что мы давно не виделись или мне было стыдно. Скорее, если бы я произнесла это вслух, я бы призналась самой себе, что так оно и есть. — Он скоро вернется, и тогда мы сможем пожениться.

— Конечно, он вернется, — ответила Магда, и я почувствовала укол вины, вспомнив ее жениха Альберта, которого забрали немцы, когда захватили университет и арестовали всех профессоров. Он так и не вернулся.

— Ну, нам пора, — бросила Клара. — Мы забронировали на семь тридцать. — На долю секунду мне захотелось, чтобы, несмотря на всю невежливость, они все же взяли меня с собой. Какая-то жалкая часть меня наступила бы на гордость и согласилась ради нескольких часов в компании. Но они этого не сделали.

— Тогда до свидания, — холодно попрощалась Клара. Она взяла Магду за руку и увела ее прочь, ветер разносил их смех по площади. Их головы заговорщически склонились друг к другу, и я была уверена, они шептались обо мне.

Ну и пусть, сказала я себе, подавляя горечь от отказа. Я плотнее запахнула свитер, защищаясь от летного ветерка, который теперь нес зловеший холод. Скоро вернется Крыс, и мы обручимся. Мы начнем с того места, где остановились, и все повернется так, словно этого ужасного расставания никогда и не случилось.

СЭДИ

МАРТ 1943 ГОДА

Меня разбудил громкий скрипучий звук.

Ночной шум из гетто потревожил меня не впервые. Стены нашего многоквартирного дома, наспех построенные, чтобы из первоначальных комнат соорудить жилье поменьше, были тонкими, почти бумажными, и легко пропускали обычно приглушенные звуки повседневной жизни. Ночью в нашей комнате тоже постоянно слышались тяжелое дыхание и храп отца, тихое мычание матери, пытавшейся принять удобное положение со своим недавно округлившимся животом. Я часто слышала, как родители шепчутся друг с другом в нашем крошечном общем пространстве, думая, что я сплю.

Они больше не пытались от меня что-то скрывать. Спустя год, как меня чуть не поймали и не забрали во время *акциона*, стало невозможно не замечать кошмар нашего ухудшающегося положения. После мучительной зимы без отопления, со скудной пищей нас окружали болезни и смерти. Молодежь и старики умерли от голода и болезней, или были расстреляны за то, что недостаточно быстро выполняли приказы полиции гетто,

или за какие-то другие нарушения при ежеутреннем построении на работу.

Мы никогда не говорили о том дне, когда меня чуть не забрали. Но после этого все изменилось. Во-первых, теперь у меня была работа, я работала вместе с мамой на обувной фабрике. Папа использовал все свои связи, чтобы мы могли работать вместе, а также проследил, чтобы нам не давали тяжелых поручений. Тем не менее от работы с грубой кожей по двенадцать часов мои руки покрылись мозолями и кровоточили, а от постоянного сгорбленного положения и монотонных движений кости ныли, как у старухи.

Мама тоже изменилась — почти в сорок лет она была беременна. Всю жизнь я знала, что родители страстно желали еще одного ребенка. Невероятно, но сейчас, в самые мрачные времена, их молитвы были услышаны.

— В конце лета, — сообщил папа примерную дату рождения. Это уже было заметно по маме, ее округлившийся живот выпирал из худого тела.

Я бы хотела разделить радость родителей в ожидании ребенка. Когда-то я мечтала о брате или сестре, чуть младше меня. Но мне было девятнадцать, и я уже могла бы завести собственную семью. Ребенок казался таким бесполезным, еще один рот, который нужно кормить в худшие времена. Мы так долго были только троим. И все же дитя должно было родиться, нравилось мне это или нет. И я вовсе не была уверена, что мне этого хотелось.

Вновь раздался скрежет, громче, чем до этого, как будто кто-то копался в бетоне. Должно быть, снова заработал древний водопровод, подумала я. Возможно, кто-то наконец-то починил единственный туалет на

первом этаже, который постоянно засорялся. И все же было странно, что кто-то работал посреди ночи.

Я села на кровать, раздраженная вмешательством. Я спала беспокойно. Нам не разрешали держать окна открытыми, и даже в марте в комнате было душно, воздух был густым и зловонным. Я огляделась в поисках родителей и, к своему удивлению, обнаружила, что их нет. Иногда после того, как я ложилась, папа, чтобы вырваться за пределы нашей комнаты, пренебрегал правилами гетто и с другими мужчинами этажом ниже выходил покурить на крыльцо. Но он уже должен был вернуться, а мама редко уходила куда-то, кроме работы. Что-то было не так.

Внизу на улице начали стрелять, немцы выкрикивали приказы. Я сжалась. Прошел целый год с того дня, как я спряталась в чемодане, и хотя мы слышали о крупномасштабных *акциях* в других частях гетто («ликвидациях», как однажды объяснил папа), с тех пор немцы не приходили в наш дом. Но ужас пережитого никогда меня не покидал, а внутреннее чутье уверенно подсказывало, что они вернуться.

Я поднялась, влезла в тапочки и халат и выбежала из квартиры в поисках родителей. Не понимая, где их искать, я решила начать снизу. В коридоре было темно, если не считать слабого света, исходящего из ванной, поэтому я направилась туда. Когда я переступила через порог, я сощурилась не только от неожиданного света, но и от удивления. Унитаз был полностью снят с креплений и отодвинут в сторону, обнажив неровную дыру в земле. Я даже не подозревала, что его можно отодвинуть. Отец стоял на земле, на коленях, и скреб дыру, буквально откалывая бетонные края и расширяя ее руками.

— Папа?

Он не поднял глаз.

— Быстро одевайся! — бросил он резко как никогда.

Я подумала, не задать ли еще один из десятка вопросов, вертевшихся у меня в голове. Но я росла единственным ребенком среди взрослых и была достаточно умна, чтобы понимать, когда нужно просто молча согласиться. Я поднялась наверх в нашу комнату и открыла прогнивший шкаф с одеждой. А потом засомневалась. Я понятия не имела, что надеть, к тому же не знала, где мама, а снова побеспокоить отца вопросами не осмеливалась. Так или иначе, мы приехали в гетто всего с несколькими чемоданами на троих; не то чтобы мне было из чего выбирать. Я сняла юбку и блузку с вешалки и стала одеваться.

Мама появилась в дверях и покачала головой.

— Оденься потеплее, — посоветовала она.

— Но, мама, уже не так холодно.

Она промолчала. Вместо этого вытащила толстый синий свитер, связанный моей бабушкой прошлой зимой, и мою единственную пару шерстяных брюк. Я удивилась — я предпочитала носить брюки, а не юбки, но мама считала их неподобающими для девушки и до войны разрешала мне их надевать только по выходным, когда мы никуда не выходили. Когда я переделась, она указала на мои ноги.

— Ботинки, — строго велела она.

Я носила ботинки уже две зимы, и они стали слишком тесными.

— Они жмут.

Мы собирались купить новую пару прошлой осенью, но появились ограничения: евреям запретили посещать магазины.

Мама приготовилась что-то сказать, и я была уверена, что она настоит, чтобы я их надела. Затем она порылась в нижнем ящике шкафа и вытащила собственные ботинки.

— Но что ты сама наденешь?

— Просто возьми их. — Услышав ее сухой тон, я подчинилась без лишних вопросов. Мамины ступни были по-птичьи узкими и маленькими, а ботинки всего на размер больше моих собственных. Тогда я заметила, что, несмотря на то, что она одевала меня для холодной погоды, сама она по-прежнему носила юбку — брюк у нее так и не было, а даже если бы они у нее и были, ежедневно растущий живот не поместился бы в них.

Когда мама закончила упаковывать вещи в сумку, я выглянула в окно. В тусклом предрассветном свете я могла разглядеть людей в униформе, не только полицейских, но и эсэсовцев, расставляющих столы. Оба конца улицы были перекрыты. Евреев заставляли собираться на площади Згоды, как они делали каждое утро. Только не было никакого порядка и переклички, как обычно, когда мы выстраивались в очередь перед работой на фабриках. Полиция вытаскивала людей из домов и пыталась выстроить толпу в шеренги с помощью дубинок и кнутов, подгоняя их к десятку грузовиков, ожидавших на углу. Похоже, что они забирали всех из гетто. Я тревожно опустила занавеску.

Я никогда еще не слышала грохот выстрелов так близко от дома. Мама оттащила меня от окна и усадила на пол, то ли для того, чтобы я ничего не увидела, то ли чтобы меня не задело.

Когда стрельба затихла на несколько секунд, она встала и подняла меня на ноги, затем отвела от окна и завернула меня в пальто.

— Ну давай, живее! — С небольшой сумкой в руках она направилась к двери.

Я обернулась. Так долго я питала ненависть к этому грязному, тесному месту. Но мрачная комната теперь выглядела убежищем, единственным знакомым

мне островком безопасности. Я бы все отдала, чтобы остаться.

Я подумала, не отказаться ли. Выходить из комнаты сейчас, когда на улице полно полицейских, казалось глупым и небезопасным. Но потом я увидела выражение лица матери, не просто сердитое, но испуганное. Речь шла не о прогулке, от которой можно отказаться. Здесь выбора не было.

Вслед за мамой я спустилась вниз по лестнице, до сих пор не совсем понимая, что происходит. Я предполагала, что мы выйдем на улицу и присоединимся к остальным, чтобы не привлечь к себе внимания или чтобы немцы не забрали нас силой. Но мама резко развернула меня за плечи и втолкнула в коридор.

— Идем, — велела она.

— Куда? — спросила я. Она промолчала, но повела меня обратно в уборную, будто хотела попросить, чтобы я воспользовалась ею напоследок перед долгой дорогой.

Когда мы подошли к ванной, я услышала, как отец спорит с мужчиной с незнакомым голосом.

— Еще не готово, — сказал папа.

— Мы должны уходить сейчас же, — настаивал странный мужчина.

Идти куда-то было бы совершенно невозможно, думала я, вспоминая блокады на улице. Я вошла в ванную. Унитаз все еще был сдвинут в сторону, обнажая дыру в полу. Торчащая из нее голова мужчины заорожила меня. Будто она была отдельно, словно какая-то диковина в цирке уродцев или карнавале. У головы было широкое лицо, румяные щеки, обветренные от уличной работы холодной польской зимой. Увидев меня, мужчина улыбнулся.

— Дзен добрый, — вежливо сказал он, будто все было в порядке вещей. Затем он посмотрел на папу,

и лицо его снова помрачнело. — Вам нужно уходить прямо сейчас.

— Уходить куда? — выпалила я. Улицы кишели эсэсовцами, гестаповцами и полицией еврейского гетто, которая, да поможет нам Бог, была не лучше. Я посмотрела вниз на дыру в полу, догадываясь. — Вы же не про...

Я повернулась к маме, ожидая ее возражений. Моя элегантная, утонченная мама не полезет в дыру под унитазом. Но у нее было каменное и решительное лицо, готовое к тому, о чем просил ее папа.

Однако я не была готова. Я сделала шаг назад.

— А как насчет Бабчи? — спросила я. Моя бабушка, жившая в доме престарелых на другом конце города, каким-то образом избежала депортации в гетто.

Мама замаялась, потом покачала головой.

— У нас нет времени. Ее дом престарелых не еврейский, — добавила она. — С ней все будет в порядке.

Через окно над раковиной я мельком увидела толпы людей, которых выгоняли из домов к грузовикам. В толпе я разглядела свою подругу Стефанию. Увидев ее так далеко от собственной квартиры на другой стороне гетто, я изумилась. Поскольку ее отец был полицейским еврейского гетто, я полагала, что она-то как-нибудь сможет избежать всеобщей участи и спастись. Теперь ее забрали, как и остальных. Я почти пожалела, что не могу пойти с ней. Ее лицо было белым от страха. *Пойдем с нами*, — хотелось крикнуть мне. Я беспомощно наблюдала, как ее подтолкнули вперед, и она исчезла в толпе.

Мама вышла вперед.

— Первой пойду я.

Увидев ее живот, мужчина из ямы удивился.

— Я не знал... — пробормотал он. Его лицо сморщилось от ужаса. Я видела, как он прикидывал, какие

дополнительные трудности принесут роды и новорожденное дитя. На секунду я задумалась, может ли он отказаться взять мою мать. Я затаила дыхание, ожидая, что он скажет, что это не годится и нам придется искать другой способ.

Но мужчина снова исчез в дыре, чтобы уступить дорогу, и мать шагнула вперед. Протянув папе свою сумку, она тяжело опустилась на пол, просунув ноги в дыру. В другое время она бы легко проскользнула. Моя пташка — так звал ее отец, и это прозвище ей очень шло, так как она была миниатюрной, похожей на девочку, даже когда ей было почти сорок. Однако сейчас, придерживая свой круглый живот, будто дыню, она выглядела грузной. Ее юбка неловко задралась, обнажив полоску белого живота. Я снова подумала, как и раньше, что она слишком стара для рождения второго ребенка. Мама тихо вскрикнула, когда папа протолкнул ее в дыру, а затем исчезла в темноте.

— Твоя очередь, — обратился ко мне папа. Я озираясь, стараясь оттянуть момент. Все что угодно, но только не нырять в канализацию. Но немцы уже стояли у дома и барабанили в дверь. Скоро они ее выломают, и будет слишком поздно.

— Сэди, скорее! — в его голосе слышалась мольба. Что бы он ни просил меня сделать, он делал это ради нашего спасения.

Как и мама, я уселась на пол и уставилась в дыру, темную и зловещую. В ноздри ударило зловоние, и я поперхнулась. Нечто мятежное, упрямое восстало во мне, затмив обычное послушание.

— Я не могу.

Темнота дыры наводила ужас, по ту сторону ничего не было видно. Это напоминало момент, когда я пыталась

прыгнуть в озеро с высокой ветки, только в тысячу раз хуже. Я не могла заставить себя пройти через это.

— Ты должна. — Отец не стал дожидаться дальнейших возражений и грубо протолкнул меня. Из-за плотной одежды я застряла на полпути, и он подтолкнул меня еще сильнее. Грязные края бетона впились мне в щеки, порезав их, а затем я провалилась в темноту.

Я тяжело приземлилась на колени. Холодная, вонючая вода расплескалась вокруг, намочив чулки. Ухватившись за скользкую стену, я старалась удержаться и не свалиться дальше. Пока я стояла, изо всех сил пыталась не думать о том, к чему прикасалась.

Папа спустился в дыру и приземлился рядом со мной. Сверху кто-то заново закрыл пол. Я никого не видела за нами, и мне стало любопытно, кто же это был: возможно, сосед, которому папа заплатил или оказал услугу, или кто-то слишком трусливый, чтобы самому спуститься в канализацию. Наш последний луч света исчез. Мы оказались заперты в кромешной тьме.

И мы были не одиноки. В темноте я слышала рядом с нами других людей, хотя я не могла сказать, сколько их и кто они. Я удивилась, что были и другие. Неужели они тоже прошли через дыру в туалете, чтобы оказаться здесь? Я моргнула, безуспешно пытаюсь привыкнуть к темноте.

— Что происходит? — спросил женский голос на идише. Никто не ответил.

Я вдохнула и захлебнулась от вони. Воняло повсюду. Запах воды с фекалиями и мочой, мусором и гнилью сгущал воздух.

— Дыши ртом, — тихо посоветовала мама. Но это оказалось еще хуже, будто я жевала грязь. — Дыши неглубоко. — Следующий совет тоже не помог. Канализационная вода доходила до лодыжек, просачиваясь сквозь

ботинки и чулки, и от ледяной воды кожа покрылась мурашками.

Незнакомец зажег карбидную лампу, и свет лизнул округлые стены, осветив полдюжины странных, испуганных лиц вокруг меня. Ближе всего стояли двое мужчин, один примерно ровесник отца, а второй, похоже, был его сыном, примерно лет двадцати. Они были одеты в ермолки и черную одежду верующих евреев. *Жиды*, охарактеризовал бы их папа до начала войны, а теперь мы были все вместе. Он не имел в виду ничего грубого, скорее, это был своего рода короткий термин, обозначающий ортодоксальных евреев. Они всегда казались мне чужими со своими обычаями и строгими правилами, и в определенном смысле я чувствовала, что у меня больше общего с поляками, чем с этими евреями.

За ними стояла другая семья, молодая пара со спящим на отцовских руках маленьким мальчиком двух или трех лет, на всех были только пижамы и пальто. Рядом находилась сутулая пожилая женщина, и хотя она была в сторонке, я не могла сказать, к какой из семей она относилась. Может, она была сама по себе. Других девочек или детей моего возраста я не видела.

Когда глаза привыкли, я огляделась. Я представляла себе канализацию, если вообще представляла, как протянутые под землей трубы. Но мы находились в огромном, похожем на пещеру проходе с арочным потолком высотой примерно в шесть метров, похожим на тоннель, по которому может проехать грузовой поезд. В центре тоннеля бежали потоки черной воды, довольно широкие и глубокие, так что вполне сошли бы за реку. Я и представить себе не могла, что такая масса воды несется у нас под ногами. Ее шум, отражавшийся от высоких стен, почти оглушал.

Мы стояли на тонком бетонном выступе шириной не больше полметра, что тянулся вдоль одной стороны реки, и я смогла разглядеть второй выступ, который располагался параллельно. Течение было сильным и казалось, затягивало меня, пока я силилась удержаться на узкой тропинке. Однажды я читала книгу с греческими мифами об Аиде, повелителе подземного мира; теперь мне чудилось, что я нахожусь именно в таком месте, в каком-то странном подземном мире, о котором я никогда не задумывалась и даже не догадывалась о его существовании. Я ошеломленно смотрела на воду, объятая растущим страхом. Плавать я не умела. Сколько раз папа ни пытался научить меня, я не могла заставить себя погрузить голову под воду даже летним днем в самом спокойном озере. Упади я в эту реку, ни за что бы не выжила.

— Идем, — скомандовал мужчина, который появился из-под пола нашей ванной. Теперь я увидела его целиком, он оказался широкоплечим и коренастым. На нем были высокие сапоги и обычная матерчатая шляпа. — Мы не можем здесь оставаться. — В округлом пространстве его голос прозвучал слишком громко.

Он пошел по выступу, держа перед собой лампу. Несмотря на свое приземистое телосложение, он ловко передвигался по узкой тропинке с легкостью человека, который работал в канализации целыми днями.

— Папа, кто это? — прошептала я.

— Работник канализации, — ответил папа. Мы шли гуськом за рабочим, держась за округлые стены, чтобы не упасть. Туннель бесконечно простирался вперед, в темноту. Я размышляла, почему он решил нам помочь, куда мы направляемся и как он вообще вытащит нас из этого ужасного места. Если не считать журчания воды,

вокруг было тихо и глухо. Пугающие крики немцев по-утихли, почти исчезли.

Мы добрались до места, где стена туннеля словно прогибалась внутрь, образуя небольшую нишу. Рабочий жестом пригласил нас войти в пространство пошире.

— Отдохните, потом пойдем дальше.

Я нерешительно посмотрела на маленькие черные камни, лежавшие на земле, размышляя, где мы должны были отдохнуть. Мне померещилось, что их поверхность шевелилась. Присмотревшись, я увидела, что это были тысячи крошечных желтых личинок. Я едва удержалась от крика.

Мой отец, по-видимому, не обращая на это внимания, опустил на камни. С глубокими усталыми вздохами он расслабил спину. На мгновение он поднял глаза, и я что-то увидела в них, беспокойство или страх, которые отразились на его лице как никогда раньше. Затем, заметив меня, он простер ко мне руки.

— Иди сюда.

Я лежала у него на коленях, позволяя ему оградить меня от грязной, кишачей личинками земли.

— Я вернусь за вами, когда будет безопасно, — сказал рабочий. Безопасно для чего? Хотелось бы мне спросить. Но я понимала, что лучше не задавать вопросов человеку, который нас спасает. Он вышел из ниши, прихватив с собой лампу и оставив нас в темноте. Остальные опустились на землю. Никто не проронил ни слова. Мы все еще были под гетто, сообразила я, услышав немцев сверху. Видимо, уже завершились аресты, но они все еще прочесывали дома в поисках беглецов и, как стервятники, рылись в брошенных людьми скудных пожитках. Я представила, как они обыскивают нашу крошечную комнату. В итоге у нас почти ничего не осталось; мы все продали или оставили, когда

переехали в гетто. И все же сама мысль, что люди могут рыться в нашей собственности и что мы больше не имеем права на что-то свое, заставляла меня чувствовать себя ущемленной, недочеловеком.

Все мои страхи и печали вернулись с новой силой.

— Папа, я не уверена, что смогу, — призналась я шепотом.

Отец обнял меня, и я ощутила такое спокойствие и тепло, словно нам удалось вернуться домой. Я уткнулась головой ему в грудь, знакомые запахи мяты и табака успокаивали меня, и я постепенно отстранялась от канализационной вони. Мама устроилась рядом и положила голову ему на плечо. Мои веки отяжелели.

Спустя какое-то время папа пошевелился, разбудив меня. Я открыла глаза и взглядела в полутьму, рассматривая другие семьи, которые спали неподалеку. Молодой человек из религиозной семьи бодрствовал. Из-под черной шляпы выглядывали мягкие черты лица с небольшой аккуратной бородкой. Его карие глаза поблескивали в темноте. Я аккуратно отодвинулась от папы и осторожно поползла к нему по скользкому полу.

— Вот ведь странная вещь — спать среди совершенно незнакомых людей, — завела я разговор. — Я имею в виду, кто бы мог подумать, что можно здесь оказаться? — Он не ответил, но настороженно взглянул на меня. — Кстати, я Сэди.

— Сол, — сухо ответил он. Я ждала, что он скажет что-нибудь еще. Когда он замолчал, я отползла к родителям. Сол единственный был моим ровесником, но, похоже, дружба его не интересовала.

Спустя какое-то время рабочий вернулся, снова осветив альков своей лампой и разбудив остальных. Он молча показывал жестами, что нам пора идти дальше,

поэтому мы с трудом встали и снова выстроились в шеренгу на тропинке вдоль широкой реки.

Через пару минут мы дошли до перехода. Рабочий увел нас с главного канала вправо, в туннель поуже, что простирался дальше от бурлящей канализационной реки. Тропинка вскоре уперлась в бетонную стену. Тупик. Неужели он намеренно заманил нас в какую-то ловушку? Я слышала рассказы о том, как неевреи сдавали своих соседей-евреев полиции, но такой способ выдать нас казался мне странным.

Рабочий с лампой опустил на колени, и я увидела, что ниже на стене располагался небольшой металлический кружок, что-то вроде крышки или колпачка. Он приоткрыл ее, чтобы показать трубу, и отступил назад. Труба была не больше полметра в диаметре. Разумеется, он не заставит нас туда лезть. Но он выжидающе стоял.

— Это единственный способ, — сказал он с ноткой извинений в голосе, которые больше предназначались моей матери. — Вам надо лечь на живот. Если вы просунете голову и плечи, все остальное пролезет. — Он что-то протянул маме, затем забрался в трубу. Невероятно, но его коренастое тело поместилось. Впрочем, он, верно, проделывал это и раньше. Он скользнул внутрь и через мгновение исчез.

Семья верующих пошла первой, и до меня доносились их кряхтенье, напряжение, с которым они протискивались внутрь. Затем в трубу забралась семья с маленьким ребенком. Остались только мама, папа и я. Когда настала моя очередь, я опустилась на колени перед трубой, напоминая мне пыльный чердак в нашей старой квартире, где мы со Стефанией играли до войны. Я могла проползти на животе. А как же моя мать?

— Ты следующая, — сообщила мама. Я не решалась, сомневалась, сможет ли она пролезть за мной. — Я пойду следом, — пообещала она, и я поняла, что мне оставалось только поверить ей.

Папа подтолкнул меня, и я стала лезть, пытаюсь не обращать внимания на струйку влажной воды на дне, которая неприятно мочила одежду. Труба зажала меня тисками, заключая в водянистую могилу. Внезапно парализованная приступом страха, я замерла, не в силах ни пошевелиться, ни дышать. «Иди, иди», — услышала я незнакомый голос с того конца и поняла, что должна двигаться дальше, иначе точно умру здесь. Длина трубы была около десяти метров, и когда я добралась до конца и забралась на другой выступ, я развернулась и прислушалась. Папа, конечно, был слишком большим, чтобы пролезть через нее, да и мама в ее нынешнем положении — тоже. При мысли, что я могу остаться одна на этой стороне без них, я запаниковала.

Прошло пять минут, но из трубы никто не появился. Рабочий поднял с земли веревку и пропустил ее через трубу, проползая часть пути, чтобы она прошла насквозь. Он начал аккуратно вытягивать ее, останавливаясь каждые несколько секунд. Через трубу послышались слабые мамины стоны. Наконец она и сама появилась — обвязанная веревкой, покрытая какой-то смазкой, которую, скорее всего, дал ей рабочий, чтобы она проскользнула. Действенный способ, но безжалостный. В своем почерневшем платье и с растрепанными волосами она выглядела совсем не так элегантно, как обычно, и когда незнакомец помог ей вылезти, она не поднимала глаз. За ней последовал папа, он протиснулся сквозь трубу благодаря силе воли. Я никогда в жизни не была так рада его появлению.

Но мое облегчение длилось недолго. В том самом месте, где мы вышли из трубы, прямо над нашими головами оказалась канализационная решетка. Было ясно, что мы все еще находимся под гетто, мы слышали голоса немцев, похожие на те, что подняли нас с кровати пару часов назад, они снова выкрикивали приказы. Луч фонарика заскользил по краю крышки люка и упал вниз.

— Нам нужно идти дальше, — шепнул рабочий.

Мы последовали за ним из малого туннеля, где вышли из трубы, обратно в главный туннель с широкими, стремительными водами канализационной реки. Бетонный выступ исчез, и нам пришлось идти по каменистому берегу канализации, ступая в паре сантиметров от воды. Камни были скользкими и покатыми, и с каждым шагом я боялась упасть в реку. Что-то острое под водой проткнуло ботинок и впилося в ногу. Я схватилась за нее, борясь с желанием закричать. Мне хотелось остановиться и проверить рану, но рабочий заторопился, и мне показалось, что если мы замедлимся, то останемся позади навсегда.

Мы подошли к перекрестку, где река со сточными водами, по которой мы шли, пересекалась с другим потоком воды, таким же яростным и большим. Журчание канализационной воды переросло в рев.

— Будьте осторожны, — предупредил рабочий. — Мы должны перейти здесь. — Он указал на ряд досок, хлипко соединенных между собой наподобие моста над бурлящей водой.

При мысли, что нужно пересечь реку, у меня от страха перехватило дыхание. Папа сзади положил мне руку на плечо.

— Сэди, не бойся. Помнишь, как мы переходили озеро Крыспинув? По камешкам. Тут то же самое.

Я хотела возразить, что вода в озере Крыспинув, где мы часто устраивали летом пикники, была приятной и спокойной, там плавали рыбы и головастики — а не кишела грязь всего города.

Папа подтолкнул меня вперед, и мне ничего не оставалось, как последовать за мамой, которая, несмотря на свой округлившийся живот, стала переходить по доскам со своей обычной грацией, будто играла в классики. Я встала на доску. Нога соскользнула, но протянутая папина рука поддержала меня.

Я обернулась.

— Папа, это безумие! — воскликнула я. — Должен же быть другой путь!

— Милая, это единственный путь. — Он говорил спокойно, с невозмутимым выражением лица. Вечно оберегавший меня папа верил, что я справлюсь.

Я глубоко вздохнула, повернулась и снова двинулась вперед. Я прошла одну доску, затем еще одну. И оказалась посередине реки, далеко от обеих берегов. Пути назад не было.

Я сделала еще один шаг. Доска под ногой не выдержала и выскользнула передо мной.

— На помощь! — закричала я, и крик эхом разлетелся по туннелю.

Папа наклонился вперед, чтобы поддержать меня. При этом он выпустил из рук маленькую сумку, что собрала нам мама. В сумке лежало то небольшое, что у нас осталось в этом мире, и казалось, она медленно плыла по воздуху, паря над водой. Папа пытался поймать ее до того, как она плюхнулась в воду. Ему удалось это сделать, и он кинул ее мне, затем попытался выпрямиться, но не справился и потерял равновесие.

— Папа! — крикнула я, когда он с громким всплеском упал в темную канализационную воду. Рабочий

развернулся и бросился на доски, оттаскивая меня в безопасное место. Затем он попытался достать отца. Но когда его рука приблизилась к папиной, сильное течение подхватило его и затянуло под воду. С другого берега донесся вопль матери.

Папа показался снова. Он возник, как феникс, весь его торс и большая часть ног поднялись над водой, брося ей вызов. Я замерла в надежде. Он сейчас выберется. Но затем, казалось, вода схватила его, словно гигантская рука протянулась, чтобы унести папу. Она утащила его разом, голову и все тело, в ледяную темень. Я затаила дыхание, ожидая, что он появится вновь и даст отпор. Но поверхность реки оставалась нетронутой. Пузырьки воздуха, что папа оставил позади, растворились в потоке, а затем он и сам исчез.

СЭДИ

Пораженные, мы всматривались в непрерывный поток канализационной реки.

— Папа! — снова крикнула я. Мать издала низкий гортанный звук и попыталась броситься в воду вслед за ним, но рабочий удержал ее.

— Ждите здесь, — велел он, удаляясь по тропинке и следуя за течением. Я схватила маму за руку, чтобы она снова не прыгнула в воду.

— Он сильный мужчина, — предположил Сол. И хотя он решил нас успокоить, я разозлилась: откуда ему знать?

— И хороший пловец, — от отчаяния согласилась мама. — Он может выжить. — Хотела бы и я цепляться за надежду так же сильно, как она. Но вспомнив, как его, словно тряпичную куклу, швыряло течением, я поняла, что даже папа с его уверенной греблей не одолеет течение реки.

Мама и я несколько минут жались друг к другу в безмолвии, оцепеневшие, не в силах поверить в случившееся. Рабочий вернулся с мрачным лицом.

— Он попал под обломки. Я пытался освободить его, но было уже слишком поздно. Мне очень жаль, но боюсь уже ничего поделать нельзя.

— Нет! — закричала я, и мой голос разнесся эхом по туннелю, похожему на пещеру. И прежде чем я снова открыла рот, рука матери зажала его, ее кожа ощущалась на губах смесью мерзкой канализационной воды с солеными слезами. Я рыдала, уткнувшись в ее теплую грязную ладонь. Всего пару минут назад папа был здесь, не позволив мне упасть с доски. Не потянись он ко мне, он до сих пор бы был жив.

Через секунду мама отпустила меня.

— Он умер, — проговорила я.

Словно маленький ребенок, я прижалась к ней. Мой отец, добрый великан, мой защитник, мой собеседник и самый близкий друг. Мой мир. Но сточные воды канализации унесли его, как груды мусора.

— Я знаю, я знаю, — прошептала мама сквозь слезы. — Но мы должны вести себя тихо, иначе тоже умрем. Если будем шуметь, то нас может обнаружить полиция на улице, наверху, а никто из нас не хочет подвергаться такому риску. — Мама прислонилась к стене подземки, выглядела она беспомощной и слабой. Наш побег — целю папина идея, как мы обойдемся без него?

Сол шагнул ко мне, его карие глаза смотрели серьезно.

— Я сожалею о твоей утрате. — Теперь его голос звучал дружелюбнее, чем в прошлый раз, когда я пыталась заговорить. Но это больше не имело значения. Он прикоснулся к полям своей шляпы, а затем снова придвинулся ближе к отцу.

— Нам пора идти, — сказал рабочий.

Я упрямо стояла, отказываясь двигаться.

— Мы не можем оставить его. — Я понимала, что папу утащило вниз по течению, но все же в глубине души верила, что если останусь стоять прямо здесь, на том же самом месте, где он исчез, он вынырнет, и все будет так, словно ничего и не случилось. Я протянула руку,

желая, чтобы время остановилось. Только что папа был здесь, позади меня, живой, осязаемый. Теперь его нет, лишь неподвижная пустота.

— Папа мертв, — сказала я, и эта реальность болезненно пронзила меня глубоко внутри.

— Но я здесь. — Мама обхватила мое лицо руками, вынуждая посмотреть ей в глаза. — Я здесь и никогда тебя не оставлю.

Рабочий подошел и опустился передо мной на колени.

— Меня зовут Павел, — тепло сказал он. — Я знал твоего отца, он был хорошим человеком. Он доверил мне спасение ваших жизней и хотел бы, чтобы мы шли дальше.

Он встал, развернулся и пошел, уводя остальных по тропинке. Мама выпрямилась, казалось, его слова укрепили ее дух. Ее округлый живот выпирал еще больше.

— Мы как-нибудь справимся с этим.

Я смотрела на нее с недоверием. Как она могла даже подумать — не говоря уже о том, чтобы поверить, что сейчас, когда мы все потеряли, все хорошо? На секунду я задумалась — не сошла ли я с ума? Но в ее словах слышалась спокойная уверенность, которую мне почему-то нужно было услышать.

— С нами все будет хорошо.

Мама начала подталкивать меня.

— Давай. — Несмотря на свой рост и хрупкую внешность, она всегда была такой обманчиво крепкой и теперь подталкивала меня с такой силой, что я боялась: если буду сопротивляться, то тоже соскользну в воду и утону. — Нам надо поторопиться.

Она была права. Остальные продолжали идти без нас и оказались на пару метров впереди. Мы должны были следовать за ними, иначе останемся одни в этом пугающем темном туннеле. Но когда я испуганно глянула

в темную бурлящую реку, протекавшую вдоль тропинки, меня снова охватила тревога. Я всегда боялась воды, и теперь эти страхи казались обоснованными. Если папа, отличный пловец, не смог справиться с мутным течением, то каковы мои шансы?

Я посмотрела на темную дорогу впереди. Я ни за что не смогу перейти.

— Иди, — повторила мама, теперь ее голос зазвучал мягче. — Представь, что ты принцесса-воин, а я твоя мать, великая королева. Мы отправляемся из залов Вавельского замка в подземелье, чтобы убить дракона Смока. — Она обратилась к выдуманной детской игре, в которую мы играли в детстве. Я была слишком взрослой для таких детских манипуляций, и воспоминание об играх, в которые я чаще всего играла с отцом, накрыло меня новой волной сожалений. Но способность моей матери держать лицо в любой ситуации была одной из вещей, которую я ценила в ней больше всего, и ее желание подбодрить даже в такую минуту напомнило мне, что у нас общее горе.

Мы нагнали остальных и продолжили идти по канализационной тропе, которая все никак не заканчивалась. Впереди шел рабочий Павел, за ним следовала молодая пара, а затем религиозная семья со старухой, которая, несмотря на свои девяносто лет, двигалась с удивительной скоростью. Скорее всего, мы уже приближаемся к окраине города, думала я. Наверное, впереди будет какой-то выход на свободу, может быть, в лес за городом, где, по слухам прятались евреи. Мне не терпелось еще разок вдохнуть свежего воздуха. Павел повел нас вправо, в ответвление главного туннеля, он был поуже, и тропинка, казалось, пошла вверх, словно мы приближались к выходу. Сердце радостно забилося, когда я представила, как ощущаю утренний солнечный свет

на лице и навсегда покидаю канализацию. Павел снова повернул, на этот раз налево, и повел нас в бетонную комнату без окон и других источников света. Она была где-то четыре на четыре метра, меньше, чем однокомнатная квартира, где мы жили с родителями в гетто. Грязные воды плескались у покатога входа, словно волны на берегу. Кто-то положил несколько узких досок поверх шлакоблоков, чтобы получились скамейки, а в углу стояла ржавая дровяная печь. Все выглядело так, будто нас здесь ждали.

— Здесь вы будете прятаться, — подтвердил Павел. Он обвел комнату рукой. Тогда я поняла, что Павел вел нас по канализационным трубам не для того, чтобы мы где-то вышли. Канализация была тем самым «где-то».

— Здесь? — переспросила я, забыв о мамином предупреждении вести себя тихо. Все головы повернулись ко мне. Павел кивнул. — Как долго? — Я не могла представить, что проведу в канализации хоть час.

— Я не понимаю, — ответил он.

Мама откашлялась.

— Думаю, моя дочь спрашивает, куда мы отправимся потом?

— Дураки, — огрызнулась старуха. Впервые я услышала ее голос. — Мы *уже* пришли.

Я недоверчиво посмотрела на мать.

— Мы будем жить здесь? — У меня закружилась голова. Мы могли бы продержаться здесь несколько часов, может быть, ночь. Когда папа заставил меня спуститься через дыру в канализацию, я думала, что мы всего лишь переходим в безопасное место. И пока мы пробирались сквозь грязь и отчаяние, я твердила себе, что нужно идти. А путь, напротив, оказался пунктом назначения. Несмотря на все свои жуткие кошмары, я и представить не могла, что мы останемся в канализации.

— Навсегда? — спросила я.

— Нет, не навсегда, но... — Павел робко взглянул на маму. Людям, пережившим войну, было нелегко говорить о будущем. Затем он снова посмотрел, на этот раз мне в глаза. — Когда мы планировали побег, мы думали, что выведем вас через туннель, что заканчивается у реки. — По тому, как дрогнул его голос, я поняла, что под «мы» подразумевался мой отец. — Только теперь немцы охраняют этот выход. Если мы пойдем дальше вперед, нас расстреляют. — И если мы вернемся в гетто, будет то же самое, подумала я. Мы оказались в ловушке. — Это самое безопасное место. Ваша единственная надежда, — с мольбой в голосе произнес он. — Другого выхода из канализации нет, а даже если бы и был, на улицах сейчас слишком опасно. Все хорошо? — спросил он, будто нуждаясь в моем согласии. Будто бы у меня был выбор. Я не ответила. Я не могла представить себе, что соглашусь на такое. И все же папа не привел бы нас сюда, если бы не верил, что это единственный выход, наш единственный шанс на спасение. Наконец я кивнула.

— Мы не можем оставаться здесь, — раздался голос позади меня. Я обернулась. На другом конце комнаты молодая женщина с малышом разговаривала со своим мужем, поддерживая мое возмущение. — Нам обещали выход. Мы не можем здесь оставаться.

— Выйти невозможно, — терпеливо сказал Павел, как будто он только что не объяснял. — Немцы охраняют выход из туннеля.

— Другого выбора нет, — согласился ее муж.

Но женщина забрала сына у мужа и направилась к выходу из комнаты. — Впереди есть выход, я знаю, — упрямо настаивала она, протискиваясь мимо Павла и направляясь в противоположную сторону, откуда мы пришли.

— Прошу, — взмолился Павел. — Вы не должны уходить. Это небезопасно. Подумайте о своем сыне. — Но женщина не остановилась, и ее муж последовал за ней. Вдалеке я слышала, как они все еще спорили.

— Стойте! — тихо позвал Павел у входа в комнату. Но сам за ними не пошел. Он должен был защищать нас всех — в том числе и себя.

— Что с ними будет? — спросила я вслух. Никто не ответил. Голоса пары стихли. Я представила, как они идут к тому месту, где канализация встречается с рекой. Где-то глубоко, я хотела бы сбежать вместе с ними.

Через несколько минут раздался звук, похожий на хлопушки. Я подпрыгнула. Хотя я несколько раз слышала выстрелы в гетто, но так и не привыкла к этому звуку. Я повернулась к Павлу.

— Вы думаете?..

Он пожал плечами, не зная, стреляли ли в сбежавшую семью или на улице, выше. Но голоса в канализации смолкли.

Я придвинулась ближе к маме.

— Все будет хорошо, — успокаивала она.

— Как ты можешь такое говорить? — возмутилась я. «Хорошо» — самое неподходящее описание того ада, где мы оказались.

— Мы пробудем здесь несколько дней, может неделю. Мне хотелось верить ее словам.

У входа прошмыгнула крыса, оглядев нас — не со страхом, а с презрением. Я взвизгнула, и остальные устались на меня — я была чересчур громкой.

— Шепотом, — мягко сказала мама. Как она могла быть такой спокойной, когда папа умер, а крысы смотрели на нас сверху вниз?

— Мама, тут крысы. Мы не можем здесь оставаться! — Мысль о том, что мы должны остаться среди них,

была невыносимой. — Мы должны уходить, сейчас же! — Мой голос перерос в истерику.

Ко мне подошел Павел.

— Пути назад нет. Выхода нет. Теперь это твой мир. Ты должна смириться с этим ради себя, ради своей матери и ребенка, которого она носит. — Он смотрел мне прямо в глаза. Я кивнула. — Это единственный выход.

Позади него, в туннеле, за выходом, все еще стояла крыса, вызывающе глядя на нас, словно празднуя победу. Я никогда не любила кошек. Но, ох, как бы я хотела, чтобы та старая полосатая кошка, гулявшая в переулке за нашей квартирой, сейчас схватила это существо!

Мама повернулась к Павлу.

— Нам потребуется много карбида и, разумеется, спички. — Она говорила спокойно, будто смирилась с нашей судьбой и попыталась извлечь из нее максимум пользы. Мне показалось, что она должна была спросить и сказать «пожалуйста». Но она говорила тем особенным, уверенным тоном, который пускала в ход в тех случаях, когда хотела, чтобы люди поступали в ее интересах.

— Они будут у вас. Дальше по тропинке идет труба, оттуда можно набрать пресной воды. — Теперь Павел заговорил ласково, пытаясь успокоить нас. Затем он неловко потоптался. — У вас есть деньги?

Мама замялась. Она понятия не имела, договорился ли папа об оплате и какой была сумма. И большая часть денег, что мы взяли с собой, наверняка осталась на дне канализационной реки вместе с папой. Она сунула руку под платье и протянула смятую банкноту. Судя по лицу Павла, это было меньше обещанного. Что же будет, если мы не сможем заплатить ему?

— Я знаю, это немного. — Мама умоляюще смотрела на него, надеясь, чтобы этого хватило. Наконец он взял

деньги. Религиозный человек, стоявший в углу со своей семьей, тоже передал Павлу немного денег.

— Я буду приносить еду так часто, как смогу, — пообещал Павел.

— Спасибо. — Мама посмотрела через его плечо на другую семью. — Думаю, мы не были должным образом представлены друг другу. — Она прошла через комнату. — Я Данута Голт, — сказала она, протягивая руку отцу семейства.

Он не пожал ее, но формально кивнул, как при встрече на улице.

— Мейер Розенберг. — У него была борода с проседью и желтизной табачных пятен вокруг рта, но глаза были добрые, а голос теплый и мелодичный. — Это моя мать Эстер, мой сын Сол. — Я посмотрела на Сола, и он улыбнулся в ответ.

— Все зовут меня Баббе, — вмешалась старуха своим хриплым голосом. Казалось странным называть таким домашним именем женщину, с которой мы только что познакомились.

— Рада знакомству, Баббе, — ответила моя мать, уважая пожелания старухи. — И с вами, пан Розенберг, — добавила она, употребив более официальное польское обращение. Затем снова повернулась ко мне. — Я здесь со своим мужем... То есть... — Казалось, она на секунду забыла, что папы больше с нами нет. — То есть была с мужем. Это моя дочь, Сэди.

— А та, другая семья, — не могла не спросить я. — Та, что с маленьким мальчиком. Что с ними случилось?

В глубине душе я не хотела знать. Мне приятнее было думать, что они выбрались на улицу и нашли убежище. Но я никогда не умела притворяться или отводить взгляд. Мне нужно было знать.